

К. Д. Кавелин

Собрание сочинений К. Д. Кавелина
Том III. Наука, философия и литература

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 93
ББК 63.3
К11

К11 **К. Д. Кавелин**
Собрание сочинений К. Д. Кавелина: Том III. Наука, философия и литература / К. Д. Кавелин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 647 с.

ISBN 978-5-458-09300-2

Собрание сочинений К. Д. Кавелина. Том третий. Наука, философия и литература, исследования, очерки и заметки на темы: Наука и университеты; Общие научно-философские вопросы; Психология; Этика; Литература и искусство. С портретом автора, вступительной статьей А. Ф. Кони и примечаниями профессора Д. А. Корсакова.

ISBN 978-5-458-09300-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ОГЛАВЛЕНІЕ Ш-го ТОМА.

	СТРАНИЦЫ.
Памяти К. Д. Кавелина. А. Θ. Кони	VII—XX

I. НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ НА ЗАПАДѢ И У НАСЪ.

Свобода преподаванія и ученія въ Германіи.	5—91
Устройство и управленіе нѣмецкихъ университетовъ	92—212
Извлеченіе изъ письма отъ 4 (16) октября 1862 г. изъ Парижа.	213—226
Замѣчанія на проектъ общаго устава импер. росс. университетовъ	227—240

II. ОБЩЕ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКІЕ ВОПРОСЫ.

Мысли о современныхъ научныхъ направленіяхъ. По поводу диссертациі г. Нелюдова: „Уголовно-статистическіе этюды“	241—268
Философія и наука въ Европѣ и у насъ	269—285
Апріорная философія или положительная наука? — По поводу диссертациі г. Соловьева	286—319
Философская критика. (По поводу полемики гг. Лесевича и В. Соловьева)	320—325
Возможно ли метафизическое знаніе?	326—338
Русское изслѣдованіе о позитивизмѣ.	339—348
* Программа исторіи философіи	348—356
* Программа ученія о естественной религіи.	357—364

III. ПСИХОЛОГІЯ.

Нѣмецкая современная психологія	365—374
Задачи психологіи.	375—648
Психологическая критика:	
I. Письма въ редакцію „Вѣстника Европы“ по поводу „Замѣчаній“ и вопросовъ проф. Сѣченова.	649—802
II. Замѣчанія Ю. Θ. Самарина на „Задачи Психологіи“.	802—874
Нашъ умственный строй.	874—886

IV. ЭТИКА.

Идеалы и принципы	887—896
Задачи этики.	897—1018
Злобы дня.	1019—1074

V. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

Т. Н. Грановскій	1075—1080
* Воспоминанія о В. Г. Бѣлинскомъ.	1081—1098
Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики	1099—1114
Новый портретъ В. Г. Бѣлинскаго	1114
Авдотья Петровна Елагина.	1115—1132
Московскіе славянофилы сороковыхъ годовъ	1133—1166
Виноваты всѣ. Письмо Не-москвичу.	1167—1174
О задачахъ искусства.	1175—1219
Мефистофель Антокольскаго	1220—1234
Примѣчанія проф. Д. А. Корсакова	1235—1256

(Статьи, отмѣченныя звѣздочкою, напечатаны впервые въ настоящемъ изданіи, по рукописямъ автора).

ПАМЯТИ

КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА КАВЕЛИНА.

Личныя воспоминанія и некрологи, написанные подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ вѣчной разлуки съ выдающимися людьми, имѣютъ иногда, даже несмотря на свою полную искренность, свойство выцвѣтать съ теченіемъ времени—и притомъ выцвѣтать не только въ глазахъ людей, знавшихъ тѣхъ, чья смерть вызвала неприторное, глубокое чувство сожалѣнія, но и въ сознаніи самихъ своихъ авторовъ. Если «*vita memoriae*» о замѣчательныхъ людяхъ наступаетъ уже на краю ихъ могилы, постепенно затѣмъ, по отношенію ко многимъ, ослабѣвая, то «*lux veritatis*» часто начинаетъ свѣтить гораздо позже—и чѣмъ дальше, тѣмъ иногда ярче. Онъ освѣщаетъ на почвѣ житейскаго опыта и новыхъ біографическихъ свѣдѣній плоды дѣятельности этихъ людей, открываетъ въ ней и въ нихъ самихъ незамѣченныя прежде стороны и представляетъ подчасъ ихъ личность въ неожиданной свѣтотѣни. Благо тому, чей образъ отъ этого не только не колеблется и не затуманивается въ душѣ, хранящей о немъ чистое и благодарное воспоминаніе, но возрастаетъ съ еще большею полнотою и привлекательностью!.. Но это бываетъ не всегда... Сказанное Пушкинымъ о «*вѣтковъ завистливой дали*» примѣнимо и къ болѣе краткому времени. Случается, что по отношенію къ личности, описанной когда-то съ любовью и съ вѣрою въ правдивость наложенныхъ

красокъ—начинаетъ чувствоваться собственное заблужденіе. Вслѣдствіе новыхъ и несомнѣнныхъ данныхъ оказывается, что если и нѣтъ еще повода припомнить во всемъ ихъ объемѣ слова Некрасова: „ликуетъ врагъ! — молчитъ въ недоумѣніи—вчерашній другъ, поникнувъ головой...“—то все-таки тотъ, чьи дѣла и нравственный обликъ казались столь значительными, умалется и мельчаетъ, являясь величиною сомнительнаго достоинства и вызывая, вмѣсто прежняго удивленія, одну изъ тѣхъ горькихъ усмѣшекъ, по поводу которыхъ нѣмецкій поэтъ злобно воскликнулъ: «*lasst uns lachen ueber die grossen—die Keine sind!*».

Воспоминанія о Константинѣ Дмитріевичѣ Кавелинѣ—стойко и блистательно выдѣрживаютъ этотъ искусъ времени.

Болѣе тринадцати лѣтъ прошло съ его смерти—и все, что о немъ съ тѣхъ поръ стало извѣстнымъ, завершаемое нынѣ полнымъ собраніемъ его сочиненій, лишь подтверждаетъ нравственную высоту его личности, духовную и научную цѣнность его трудовъ и вѣрность высказанныхъ въ свое время, въ виду его еще свѣжей могилы, взглядовъ на глубину потери, понесенной русскимъ обществомъ въ его лицѣ... Поэтому, отзываясь на приглашеніе говорить о немъ въ настоящемъ изданіи, я долженъ, главнымъ образомъ, почти всецѣло повторить то, что было мною высказано въ самый день его погребенія,

7 мая 1885 году, когда рука, набрасывавшая воспоминанія, еще дрожала отъ внутренней боли и умиленія, невольно вызываемаго смертью человѣка, сѣумѣвшаго, несмотря ни на что, донести до могилы «душу живу» во всей ея цѣлости и чистотѣ.

Бываютъ люди уважаемые и въ свое время полезные. Они честно осуществляли въ жизни все, что имъ было «дано», но затѣмъ, по праву усталости и возраста, сложили поработавшія руки и остановились среди быстро бѣгущихъ явленій жизни, какъ пограничные столбы былого труда и былого нравственнаго вліянія. Новыя поколѣнія проходятъ мимо, глядя на нихъ, какъ на почтенные остатки чуждой имъ старины; живая связь между ихъ замолкнувшею личностью и вопросами и потребностями дня утрачена или не чувствуется,—и сердце ихъ, когда-то горячее и отзывчивое, бьется инымъ ритмомъ, безгласное и безучастное къ явленіямъ окружающей дѣйствительности. Холодное уваженіе провожаетъ ихъ въ могилу, и больное чувство незамѣнимой потери, незамѣстимаго пробѣла не преслѣдуетъ тѣхъ, кто возвращается отъ этой могилы, такъ какъ имъ пришлось засыпать въ ней усопшаго, который уже давно не былъ живымъ отголоскомъ ихъ нравственныхъ тревогъ и упованій.

Но есть и другіе люди—немногіе, рѣдкіе. Въ «битвѣ жизни» они не кладутъ оружія до конца. Ихъ воспріимчивая голова и чуткое сердце работаютъ дружно и неутомимо, покуда въ нихъ горитъ огонь жизни. Они умираютъ какъ солдаты въ ратномъ строю, на дѣйствительной службѣ, не увольняя себя ни въ запасъ, ни въ безсрочный отпускъ, и уже чувствуя дыханіе смерти, холодѣющими устами еще шепчутъ свой нравственный пароль и лозунгъ. Жизнь часто не щадитъ ихъ—и на закатѣ дней, въ годы обычнаго для всѣхъ отдыха и квіетизма, наноситъ ихъ усталой, но стойкой душѣ тяжелые удары. Но за то—ничто изъ области живыхъ общественныхъ вопросовъ не остается имъ чуждымъ.

Вступая въ жизнь съ однимъ поколѣніемъ, они дѣлятся знаніемъ съ другимъ, работа-

ютъ рука объ руку съ третьимъ, подводятъ итоги мысли съ четвертымъ, указываютъ идеалы пятому... и сходятъ со сцены всѣмъ имъ понятные, близкіе, бодрые и поучительные до конца. Они не «переживаютъ» себя, ибо *жизнь* для нихъ не значить *существовать* да порою обращаться къ своимъ, нерѣдко богатымъ, воспоминаніямъ... Ихъ чуждый личныхъ расчетовъ внутренний взоръ съ тревожною надеждою всегда устремленъ въ будущее; и въ ихъ *многогранной* душѣ всегда найдутся стороны, которыми она тѣсно соприкасается съ настроеніемъ и стремленіями лучшей части современнаго имъ общества.

Однимъ изъ такихъ людей былъ К. Д. Кавелинъ.

До сихъ поръ не хочется вѣрить, что онъ умеръ, и до сихъ поръ у знавшихъ его—личность широкаго и свѣтлаго общественнаго дѣятеля отчасти еще заслоняется личностью дорогого человѣка, въ его частной жизни, пріемахъ, привычкахъ. Для нихъ онъ лишь гдѣ-то далеко, но онъ не умеръ, ибо „wer im Gedächtniss seiner Freunde lebt—ist ja nicht todt—er ist nur fern.—Todt ist nur der—der vergessen wird“. А *забытъ* Кавелина нельзя. Онъ вносилъ въ жизнь тѣхъ, съ кѣмъ сближался, слишкомъ животрепещущую ноту—и она звучитъ до сихъ поръ, на разстояніи многихъ годовъ. Въ умѣ знавшихъ его лично возстаетъ его не отвлеченный, но живой образъ:—кажется, что вотъ-вотъ въ среду дружескаго кружка войдетъ онъ обычными большими шагами, слегка сгорбивъ широкія плечи, и заговоритъ симпатичнымъ, негромкимъ, но яснымъ голосомъ, весело и умно смотря пронизательными темными глазами, въ которыхъ горѣлъ юношескій огонь; не ослабленный 66-ю годами жизни, усѣявшей серебромъ его бороду и виски... «Однажды вечеромъ я возвращался съ Бѣлинскимъ откуда-то домой,—разсказываетъ Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ о 1839 годѣ.—На Арбатской площади попался намъ навстрѣчу молодой человѣкъ небольшого роста, полный, румяный, очень пріятной наружности, съ выюшимися темными волосами, въ очкахъ; на немъ былъ студен-

ческий сюртукъ. Увидѣвъ Бѣлинскаго, студентъ бросился съ юношескимъ, неудержимымъ увлеченіемъ къ нему и съ жаромъ схватилъ его руку...» Къ концу жизни вьющіеся волосы порѣдѣли и посѣдѣли, долго сохранявшійся здоровый румянецъ пропалъ подѣ влияніемъ тяжелой, изнурительной болѣзни, перенесенной въ 1882 г., но до послѣднихъ дней бодрый видъ не покидалъ Кавелина; онъ свободно несъ бремя своихъ лѣтъ и старческа хилость не смѣла къ нему подступиться. Только руки его въ послѣдніе годы начинали сильно дрожать, особливо подѣ влияніемъ какого-либо волненія. Но почеркъ его былъ твердъ до конца, разборчивъ и такъ же простъ, безъ всякихъ украшеній и завитковъ, какъ простъ и чуждъ всякой реторіки былъ его изящный и образный языкъ...

Человѣкъ «сороковыхъ годовъ» по образу мыслей и идеаламъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ — или, лучше сказать, — потому и одинъ изъ лучшихъ людей всѣхъ послѣдующихъ годовъ, Кавелинъ вынесъ изъ своей молодости приемы общежитія и привычки, рѣдкія, къ сожалѣнію, въ наше время. Онъ не былъ блестящимъ рассказчикомъ и его умъ былъ настроенъ не на повѣствованіе, а на бесѣду. Онъ любилъ и, что рѣдко, умѣлъ спорить. Выслушивая съ неизмѣннымъ вниманіемъ противника, онъ становился съ каждымъ возраженіемъ все сильнѣй и оживленнѣй. Глаза его загорались и сверкали, какъ-будто становясь больше, голосъ начиналъ вибрировать, и образы, сравненія, теоретическія положенія и быстрые, неожиданные, подчасъ неотразимые практическіе выводы быстро смѣнялись другъ друга, озаряя на мгновение, какъ вспышки зарницы, ту глубину и богатство разнообразныхъ знаній, откуда они были почерпнуты. Присутствовать при его спорахъ было истиннымъ наслажденіемъ. Поучительные и интересные по содержанію, они никогда не рѣзали уха своею формою. Это были не обычные русскіе споры — шумные и безцѣльные, въ которыхъ беретъ обыкновенно верхъ развязность и умышленное нежеланіе понимать своего противника. Кавелинъ не давилъ своею богатою аргу-

ментаціею, не слѣпилъ глаза парадоксами; онъ въ живой, блестящей формѣ дѣлился своимъ богатствомъ, онъ *убѣждалъ* и всегда заключалъ споръ милою, остроумною шуткою. Бывали, впрочемъ, случаи, когда рѣчь его приобрѣтала особую страстность и хотя вѣжливую, но весьма большую ѣдкость; это случалось когда при немъ затрогивали какія-нибудь дорогія для него нравственныя начала или его любимыхъ историческихъ лицъ и событія, или, наконецъ, пытались оправдывать кого-либо изъ неуважаемыхъ имъ людей. Тутъ онъ закипалъ внутренно, краснѣлъ, и рѣзко сказавъ: «извините меня!» — въ немногихъ горячихъ и негодующихъ словахъ ставилъ вопросъ на надлежащую, по его мнѣнію, почву.

Кавелина упрекали иногда въ крайней *исключительности*. Упрекъ этотъ основанъ на незнаніи, на непониманіи этой многосторонней личности. Это былъ человѣкъ строгій къ себѣ, требовательный и суровый, когда дѣло шло о томъ, что онъ считалъ своимъ долгомъ. Отдавъ всю жизнь свою труду на службу развитія русскаго общества и предаваясь этой службѣ до постоянного забвенія собственныхъ интересовъ, онъ съ горечью и презрѣніемъ смотрѣлъ на своекорыстіе, надѣвавшее личину служенія общему благу, и его нельзя было подкупить ни громкими фразами, ни искусно созданными миражами. Онъ не скрывалъ своего негодованія при видѣ различнаго рода фарисеевъ и хищниковъ, волновался при мысли о формалистическомъ бездушіи, которое мертвитъ у насъ такъ много добрыхъ и даже великихъ начинаній, и говорилъ объ этомъ съ нескрываемымъ раздраженіемъ. Когда въ 1874—77 гг. въ официальныхъ сферахъ, подѣ влияніемъ нѣсколькихъ нежелательныхъ приговоровъ присяжныхъ и предвзятаго недовѣрія нѣкоторыхъ вліятельныхъ лицъ, возникли предположенія о значительномъ ограниченіи компетенціи суда присяжныхъ, я, на основаніи семилѣтняго опыта моей прокурорской дѣятельности въ провинціи и въ Петербургѣ, составилъ и представилъ Министру Юстиціи записку, въ которой подробно разбиралъ нападки на

эту форму суда и старался доказать какъ ихъ неосновательность и—во многихъ случаяхъ—невѣжественность и даже недобросовѣстность, — такъ и высокое, въ смыслѣ развитія въ народѣ чувства истиннаго правосудія и законности, значеніе суда присяжныхъ. Вотъ что писалъ мнѣ, 14 февраля 1878 г., Кавелинъ, ознакомившись съ этою запискою: »не примите за пошлую фразу, что я съ восхищеніемъ прочелъ Вашу записку, въ отвѣтъ на предположенія объ ограниченіи круга дѣйствій присяжныхъ засѣдателей. Меня подергивало отъ негодованія при чтеніи мотивовъ, на основаніи которыхъ кругъ данныхъ правъ долженъ былъ еще стѣсниться. Живое и мертвое знаніе русскихъ явленій тутъ встрѣтились лицомъ къ лицу, взаимно выставляя другъ друга во всей противоположности и яркости. Прислушайтесь къ тому, что *хотятъ сказать* славянофилы — и Вы невольно скажете, что они дурно мотивируютъ совершенно вѣрное и дѣйствительное явленіе, которое болѣзненно гнететъ и давитъ всѣхъ думающихъ и порядочныхъ людей въ Россіи:—ярмо какихъ-то бумажныхъ, никакого отношенія къ русской жизни не имѣющихъ, выдуманныхъ путъ, которыя сбиваютъ съ толку русскій умъ, русскій здравый смыслъ, убивая вѣру въ справедливость и правду. Какія-то обстоятельства, до сихъ поръ не вполне выясненныя и сознанныя, создали у насъ своего рода логику безсмыслицы — цѣлый міръ болѣзненныхъ построеній, имѣющихъ свою—особаго рода логику и послѣдовательность. Въ Россіи сложились два міра - живой, дѣйствительный—и выдуманный, бумажный, которые стараются другъ друга понять и... никакъ не могутъ. Если эти фикціи будутъ всегда тяготѣть надъ живою дѣйствительностью, трудно себѣ вообразить, сколько изъ-за этого можетъ обрушиться на насъ зло!— Не вздумаете ли Вы напечатать Вашу записку? Было бы жаль, еслибы такое вѣское и глубоко правдивое слово замерло въ канцеляріяхъ и покрылось мертвечиною, какою у насъ покрывается многое, что исходя изъ жизни, попадаетъ въ канцелярію—админи-

стративную, судебную, даже и научную. Мнѣ кажется, что Вы *обязаны* напечатать Вашу работу въ назиданіе тѣмъ судебнымъ дѣятелямъ, которые страдаютъ особаго рода душевнымъ и умственнымъ недугомъ, происходящимъ отъ *индигестіи* вслѣдствіе неумѣреннаго употребленія канцелярской пищи...»

Но, нападая на фарисеевъ и на «повапленные гробы», Кавелинъ никогда не становился на почву исключительности, никогда не раздѣлялъ мысленно людей на лагеря, не окрашивалъ ихъ въ однообразный, пріятный или отталкивающей цвѣтъ и не распредѣлялъ, сообразно съ этимъ, свои симпатіи и антипатіи. Такая узкая исключительность была совсѣмъ чужда его широкому сердцу. Онъ никогда не сочувствовалъ стремленію прилѣплять къ людямъ разъ навсегда установленные ярлыки и по нимъ уже и оцѣнивать ихъ, не заглядывая далѣе и притягивая ихъ взгляды и убѣжденія къ заранѣе установленному инвентарю. Во всякомъ онъ прежде всего искалъ искренности и отсутствія личныхъ видовъ, и радовался, когда могъ найти въ человѣкѣ, чуждомъ ему по развитію и взглядамъ, стороны, заслуживающія уваженія. Обширный кругъ его знакомыхъ никогда не былъ окрашенъ въ однообразный колоритъ, и люди *честные*, хотя бы и противоположныхъ убѣжденій, встрѣчали въ немъ не *врага*, а лишь привѣтливаго, хотя и стойкаго *противника*. Но онъ отличался нетерпимостью по отношенію къ тому, кто прочно и, по большей части, безповоротно упалъ въ его глазахъ, обманувъ довѣріе, съ которымъ Кавелинъ смотрѣлъ на него какъ на общественнаго дѣятеля, или проявивъ душевную низость тамъ, гдѣ это оказалось выгоднѣе исполненія долга. Онъ, всю жизнь шедшій неуклонно и любя «куда звалъ голосъ сокровенный», не понималъ, чтобы можно было «propter vitam—vivendi perdere causas», и рѣзко выражалъ свое отчужденіе отъ властвующихъ безславную, но нерѣдко богатую земными благами жизнь. Ему было при этомъ все равно, къ какому лагерю принадлежатъ такіе люди по общему складу своихъ пред-

взятыхъ взглядовъ. Это была благородная нетерпимость,—отсутствіе способности къ сдѣлкамъ, къ приспособленію себя,—но это не была исключительность.

Человѣкъ *цѣльный* въ полномъ смыслѣ слова, послѣдовательный и твердый — «aus einem Guss», какъ говорятъ нѣмцы,—Кавелинъ всею своею личностью являлъ настоящей *характеръ*, съ которымъ надо было считаться и по отношенію къ которому нельзя было рассчитывать на какія-либо уступки или уклоненія подѣ влияніемъ сентиментальнаго настроенія, столь чуждаго дѣйствительной добротѣ. Въ немъ не было того *равновѣсія уменьшенныхъ силъ*, которое порою ставится почти въ заслугу современному человѣку, обезличивая и обезличивая его до крайности. Кавелинъ при серьезныхъ житейскихъ встрѣчахъ не умѣлъ «сожалѣть», «не сочувствовать», «симпатизировать», «огорчаться» и вообще довольствоваться неопредѣленными ощущеніями, неясными по своему источнику, бесплодными по своему исходу. Онъ умѣлъ *любить*—горячо и широко, доверчиво и открыто,—но умѣлъ и *ненавидѣть*, не скрывая своего чувства, съ прямою честнаго человѣка, сознающаго и уважающаго свою правоту. Ему была свойственна особая способность характера, опредѣляемая выразительнымъ французскимъ словомъ «combativité». Поэтому въ душѣ его не было мѣста вялымъ, колеблющимся чувствамъ; въ ней звучалъ «категорическій императивъ»—властно и безповоротно, никогда не грозя мелочною, недостойною враждою, но и отнимая вмѣстѣ съ тѣмъ, по большей части, надежду на возможность примиренія. И эта неподкупность сужденій Кавелина, эта ихъ категоричность, являвшаяся результатомъ совокупной работы высокихъ душевныхъ требованій и тонкаго, пронизательнаго, аналитическаго ума, привлекала къ нему и заставляла прислушиваться къ его отзывамъ, страшиться ихъ. Это былъ нравственный судья, оправдательный приговоръ котораго дѣйствительно облегчалъ смущеннаго и сомнѣвающагося въ себѣ, а слово осужденія ложилось тѣмъ тяжелѣе, чѣмъ чище былъ самъ его произносившій. Вотъ почему мно-

гіе, въ минуты какихъ-либо житейскихъ усложненій, обращались мысленно на его судъ и спрашивали: „что скажетъ Константинъ Дмитриевичъ“, „какъ смотритъ на это Кавелинъ?...“ И мысль ихъ невольно летѣла въ далекій уголокъ Васильевскаго Острова, гдѣ среди самой скромной обстановки жилъ человѣкъ, одобреніе котораго поднимало и радовало, а осужденіе жгло и тяготило, проникая сквозь броню формально признанныхъ отличій. И въ то же время—каждое истинное горе, каждая личная скорбь находили въ немъ сочувственный откликъ. Онъ умѣлъ сказать деликатное по формѣ, но мужественное и твердое по существу своему слово одобренія, умѣлъ указать словившемуся подѣ гнетомъ личной скорби общія цѣли и задачи жизни, мягко пристыдить отъ временнаго и случайнаго къ вѣчнымъ, поднимающимъ духъ вопросамъ. Всякое проявленіе ума и таланта живо радовало его, заставляя говорить о себѣ съ доброжелательнымъ увлеченіемъ. Для примѣра можно указать, напр., на то живое ободреніе, которымъ онъ привѣтствовалъ первый ученый трудъ Н. А. Неклюдова, указывая автору блестящее мѣсто на университетской кафедрѣ и горячо защищая его отъ возможности нелѣпыхъ обвиненій въ „нигилизмѣ“, благодаря которымъ ему можетъ прійтись, вмѣсто занятія кафедры, „потерпѣть писцомъ въ какой-нибудь канцеляріи“. „Манера его и способъ выраженій свѣжи и молоды, писалъ Кавелинъ, разбирая „Уголовно-статистическіе этюды“,—въ нихъ слышится и нетерпимость живого убѣжденія, и нетерпѣливость силы, и неумѣренность надеждъ, возбужденныхъ перспективами, которыя ему открылись въ наукѣ... Отъ этихъ недостатковъ онъ освободится работой и годами. Трудъ и время увеличатъ его силы, умѣривъ ихъ“. Но дутыя репутаціи людей, прославляемыхъ своимъ муравейникомъ, создаваемая обыкновенно ловкимъ умѣніемъ приспособляться и во время отходить въ сторону отъ всякихъ жгучихъ вопросовъ, никогда не обманывали его. „Что вы скажете о смерти Н. Н.?—пишетъ онъ одному изъ сво-

ихъ друзей,—кажется, Россія ничего не потеряла съ его кончиной. Слышалъ я его въ за-сѣданіи... *Незнаменито*, какъ говаривалъ покойный Никита Ивановичъ Крыловъ. Отъ такой знаменитости я ожидалъ гораздо больше. Да и карьеристъ былъ изрядный!

Соединяя существо ученаго и гражданина съ формами безукоризненной благовоспитанности, Кавелинъ держалъ себя всегда со спокойнымъ достоинствомъ, цѣня въ тѣхъ, съ кѣмъ его сталкивала судьба, исключительно ихъ человѣческія свойства, независимо отъ ранговъ и отличій. Его самостоятельность, независимость его мнѣній и его „*franc parler*“ создавали ему завистливыхъ недоброжелателей. Его умъ—„любя просторъ—тѣснилъ“ и многихъ, вопреки ихъ привычкамъ, выводилъ изъ обычной колеи мелкихъ мыслей, бесплодной болтовни и безцвѣтныхъ дѣйствій. Кавелинъ всякое разсужденіе и всякое дѣло любилъ вести на чистоту, „не отвиливая отъ мысли по разнымъ постороннимъ соображеніямъ“, какъ онъ самъ однажды выразился. Всякое неловкое и двусмысленное положеніе его тяготило, и онъ выходилъ изъ него несмотря ни на что, готовый для этого на всякую жертву, припоминая, конечно, прекрасное французское изреченіе: „*on traverse une position equivoque—on ne reste pas dedans...*“ Это проявлялось у него и въ мелкихъ и въ крупныхъ обстоятельствахъ его жизни. Такъ, когда во время преній по сдѣланному имъ въ петербургскомъ юридическомъ обществѣ реферату о кодификаціи русскаго гражданскаго права, одинъ изъ сановныхъ оппонентовъ, очевидно забывъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, перенесъ споръ на личную почву и позволилъ себѣ объяснять мнѣнія Кавелина эгоистическими видами,—послѣдній даже не оказалъ ему чести отвѣта, а лишь улыбнулся иронически и тотчасъ оставилъ за-сѣданіе. Когда, будучи президентомъ Вольно-Экономическаго Общества, онъ увидѣлъ среди окружающихъ не простое и случайное, а умышенное непониманіе его взглядовъ и побужденій, онъ оставилъ свое званіе, несмотря на то, что всегда съ любовью вспоминалъ о томъ времени, когда былъ еще толь-

ко секретаремъ Общества. „Вы пишете,—говоритъ онъ въ письмѣ отъ 19 октября 1884 г.—о муравейникѣ, въ которомъ мнѣ пришлось столько укусовъ въ теченіе двухъ лѣтъ. Тутъ все совершенно ничтожно. Будьте увѣрены, что я радъ радехонекъ избавиться отъ смута, въ который невзначай попалъ, и недостаточно тщеславенъ и самолюбивъ, чтобы пойти на приманки несравненно болѣе дѣйствительныя и соблазнительныя, чѣмъ эти. Роль спокойнаго созерцателя и зрителя—вотъ чего я жажду и никакъ не могу добиться“. Врагъ всякихъ компромиссовъ, онъ доказалъ то, что говоритъ въ этомъ письмѣ, отказавшись отъ лестнаго и заманчиваго для его живой натуры и умственнаго склада предложенія занять, въ 1880 г., постъ попечителя дерптскаго учебнаго округа. Онъ находилъ, что его программа не удовлетворитъ ни одного изъ направленій, существующихъ въ округѣ, а дѣйствовать по навязанной программѣ, которую онъ могъ и не раздѣлять, онъ не хотѣлъ.

О его личной добротѣ и разумной благотворительности едва-ли нужно распространяться. Школы и крестьянскій банкъ на его „землицѣ“ въ Тульской губерніи—и вѣнокъ на его гробъ отъ приходскаго попечительства съ надписью „другу бѣдныхъ и страждущихъ“ говорятъ сами за себя.

Кавелинъ былъ *труженникъ* въ лучшемъ смыслѣ слова. Трудъ живой, неустанный, вдумчивый и энергичный былъ его стихіею, наполнялъ всю его жизнь. „*Ohne Hast, ohne Rast*“ могло бы быть его девизомъ. Незадолго до смерти мечталъ онъ еще о переселеніи въ Царское Село, гдѣ въ тиши уединенія, вдали отъ неизбѣжныхъ тревогъ столичной жизни, хотѣлъ всецѣло отдаться работѣ надъ новымъ, большимъ философскимъ изслѣдованіемъ. Онъ смотрѣлъ на трудъ, какъ на обязанность предъ обществомъ, освободить отъ которой должна лишь смерть, одна могущая заставить изсякнуть источникъ мысли, знанія и „роптання вѣчнаго души“; онъ смотрѣлъ на него какъ на утѣшеніе, какъ на друга, на примирителя... Когда, за нѣсколько лѣтъ до смерти,

тяжкій ударъ поразили его, отнявъ у него „delicium et decus“ его существованія—его замѣчательную дочь—онъ былъ тяжело раненъ на всю послѣдующую жизнь, въ самое сердце. А сердце это, не подчиняясь тому, что Пушкинъ назвалъ „охлажденіемъ лѣтъ“, до конца оставалось крайне впечатлительнымъ и глубоко понимающимъ человеческое несчастье. Въ 1881 г. я послалъ ему пересказъ обстоятельствъ дѣйствительнаго дѣла о самоубійствѣ, бывшаго у меня въ рукахъ (онъ былъ напечатанъ въ томъ же году въ „Недѣлѣ“, подъ названіемъ „Пропавшая серьга“). Исторія женщины, бездушно брошенной съ четырьмя дѣтьми на произволь судьбы своимъ любовникомъ,—воспитавшей ихъ, въ постоянной борьбѣ съ лишеніями и болѣзнью, —убѣдившей всѣхъ окружающіхъ, что она вдова, приучившей дѣтей чтить память отца и отравившейся вслѣдствіе обвиненія ея 15-лѣтней дочери въ кражѣ серьги, причемъ была грубо раскрыта и ея тайна, а самая серьга оказались впоследствии у слишкомъ поспѣшной обвинительницы,—чрезвычайно подѣйствовала на Кавелина. „Вы меня отравили актами, которые передали намеренно, —писалъ онъ мнѣ 28-го февраля 1881 г. Никакая повѣсть не можетъ сказать того, что говорятъ эти краснорѣчивыя своею краткостью строки... .Впечатлѣніе страшное производитъ вашъ разсказъ, — впечатлѣніе отъ котораго спастись некуда! Не бойтесь вы, что сильныя души не выдержатъ, читая это,—а слабыя отворотятся, не будучи въ состояніи даже подняться на высоту диссонанса, который вы имъ представляете.—Примѣровъ такой воспримчивой впечатлительности можно бы привести много. Понятно, поэтому, что долженъ былъ пережить Кавелинъ послѣ постигшаго его удара. Но онъ не опустилъ рукъ, не погрузился въ нѣмое бездѣйствіе печали, а сказалъ: я буду жить, буду работать, я весь уйду въ трудъ. Онъ, очевидно, раздѣлялъ взглядъ Тэна, находившаго, что лишь полная правдивость по отношенію къ другимъ и къ самому себѣ и ежедневный, упорный трудъ могутъ уберечь человѣка отъ пре-

зрѣнія къ себѣ и къ людямъ. И результатомъ рѣшенія Кавелина явился рядъ работъ по гражданскому праву и „Задачи этики“, посвященныя молодому поколѣнію, которое онъ предостерегаетъ отъ „губящей насъ лѣни ума“.

Русскій человѣкъ до мозга костей, знатокъ быта и глубокій изслѣдователь явленій исторіи своего народа, Кавелинъ нѣжно и беззаветно любилъ этотъ народъ. Онъ свѣтло смотрѣлъ впередъ, не смущаясь за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли въ этомъ отношеніи оптимистомъ. «Да, я оптимистъ, говаривалъ онъ съ тихою и увѣренною радостью во взорѣ,—я вѣрю, что какія бы уродливыя и болѣзненные явленія ни представляло русское общество—простой русскій человѣкъ пойметъ свои задачи, разовьетъ свои богатыя духовныя силы, и вынесетъ на своихъ плечахъ Россію». Онъ не отрицалъ темныхъ и грубыхъ сторонъ нашего сельскаго быта, на которомъ, какъ на устояхъ, должна, по его мнѣнію, стоять Россія,—но онъ возставалъ противъ поспѣшныхъ и мрачныхъ обобщеній. «Эти недостатки — недостатки молодости, не перебродившаго переходнаго положенія, наносная и поверхностная плѣсень», говаривалъ онъ... «Сердцевина здорова и ея живительныя соки залечатъ больныя мѣста въ корѣ; пусть только дадутъ имъ выходъ, не мудрствуя лукаво, не навязывая народу чуждыхъ ему учрежденій и не заключая его въ бюрократическіе тиски... Надо вѣрить въ русскій народъ, надо его любить—безъ этого жить нельзя!» Онъ часто доказывалъ, что о народѣ слѣдуетъ судить не по его нравамъ и привычкамъ, а по его идеаламъ, по его стремленіямъ,—и съ удовольствіемъ повторялъ процитированное предъ нимъ однажды изреченіе Монтескье: «Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses moeurs...» Всякій истинный слуга народа былъ ему дорогъ. Стоитъ припомнить какими трогательными словами помянулъ онъ земскаго врача Бѣлевскаго уѣзда Лукина, предъ которымъ онъ «благоговѣлъ» за его трудъ и «внимательность къ простому, бѣдному и темному люду». Спрашивая себя, какъ могъ развиваться

и сохраниться чистымъ этотъ человекъ въ безвѣстной глуши, въ узкомъ кругѣ дѣятельности, принося массу добра и пользы ближнимъ, при скудномъ заработкѣ, большой семьѣ и работахъ безъ усталы, — Кавелинъ отвѣчаетъ поэтическимъ сравненіемъ: «такъ распускается ландышъ невидимо, въ тѣни, разливая вокругъ себя благоуханіе! Это тайна его природы...» Онъ принималъ живѣйшее и плодотворное участіе въ хлопотахъ объ устройствѣ осиротѣлой семьи Лукина, — да и ея ли одной?!

Кавелина называли чуждые ему люди *узкимъ западникомъ*. Но близкіе, въ дружеской бесѣдѣ, иногда въ шутку говорили ему, что онъ *отъявленный славянофилъ*. А онъ не былъ ни тѣмъ, ни другимъ. Онъ былъ самимъ собою. Если уваженіе къ западной культурѣ и къ развитому на западѣ чувству законности считать западничествомъ, то безъ сомнѣнія онъ заслуживалъ первый упрекъ, такъ какъ умѣлъ и желалъ, выражаясь словами Пушкина, «свободною душой законъ боготворить», и всегда былъ чуждъ китайской замкнутости и ограниченнаго національнаго самодовольства. Его идеаломъ дѣятеля былъ Петръ Великій. О немъ онъ говорилъ съ умиленіемъ, восхищался всюду встрѣчаемыми слѣдами того, «кому въ царяхъ никто не равенъ», и преклонялся предъ его гениальною энергіей, основанной на вѣрѣ въ способности, въ призваніе своего народа. Кавелинъ былъ неисчерпаемъ въ разговорахъ о Петрѣ, и каждое воспоминаніе объ оригинальномъ поступкѣ и словѣ «вѣчнаго работника на тронѣ» оживляло его... «А! каковъ мой Петруханъ!» восклицалъ онъ, называя своего героя ласковымъ мужицкимъ прозвищемъ и радостно заливаясь своимъ заразительнымъ смѣхомъ. «Какъ я вамъ благодаренъ, — писалъ онъ мнѣ 21 апрѣля 1884, — за рѣдкій портретъ Peter'a! На дняхъ вставляю его въ рамку и буду предъ нимъ идолопоклонствовать, какъ передъ великорусскимъ полубогомъ. Не можетъ погибнуть страна, выставившая такого генія, непохожаго ни на какого другого!» — «Когда на меня тяжело дѣйствуетъ какое-нибудь безотрадное явленіе въ русской жизни, когда на сердцѣ становится горько и грозитъ уны-

ніе, — писалъ онъ въ другой разъ — я вспоминаю Петра — и ободряюсь, или читаю о Христвѣ — и мнѣ становится легче, и спокойствіе сходитъ въ мою душу...» Съ чуткою тревогою прислушивался онъ ко всему, что касалось Россіи въ вопросахъ экономическихъ и политическихъ, и зорко слѣдилъ за уклоненіями отъ того, что считалъ ей полезнымъ. Его дѣятельность въ различныхъ ученыхъ обществахъ, его готовность работать въ развитіе и разъясненіе мѣръ, касавшихся улучшенія народнаго благосостоянія, слишкомъ извѣстны.

Какъ преподаватель, онъ имѣлъ огромное вліяніе на слушателей. Слезы, пролитыя его послѣдними учениками, — людьми взрослыми и уже познавшими жизнь, — на могилѣ «учителя правды и права», какъ они сами его называли, были имъ вполне заслужены, ибо онъ былъ учителемъ въ настоящемъ смыслѣ слова, научая молодежь не только *знать*, *идти* пути правды, но и *желать* ходить по этимъ путямъ. Его благотворному вліянію на слушателей сначала способствовала его собственная молодость, — онъ вступилъ на кафедру 25 л. отъ роду, — благодаря которой его воодушевленіе было особенно заразительно; потомъ, чрезъ десять лѣтъ, принесенныя имъ на кафедру, по собственнымъ словамъ, непоколебимое убѣжденіе въ высокомъ значеніи науки, неизмѣнная вѣра въ высокую историческую судьбу родины и горячая любовь къ труду — еще прочнѣе укрѣпили это вліяніе. Оно продолжалось и въ предсмертные годы и отразилось въ воспоминаніяхъ его благодарныхъ слушателей въ военно-юридической академіи. Молодежь чутко сознаетъ, является ли для ея учителя наука, по выраженію Гейне, «богиней или дойною коровою», — самостоятельно ли онъ трудится и мыслить — или ловко сшиваетъ себѣ изъ чужихъ лоскутковъ теплое одѣяло. Она и не могла не оцѣнить личнаго, блестящаго и глубокаго труда Кавелина и его строгости къ своимъ задачамъ, какъ профессора. Эта строгость заставляла самого Кавелина смотрѣть съ нескрываемымъ презрѣніемъ на тѣхъ изъ патентованныхъ, подчасъ даже маститыхъ ученыхъ, которые торгуютъ наукою «въ разность» и угодливо предлагаютъ свои гибкія